



Э. Вихерт

Окно Андромеды^{*}
Из дневника мечтателя

Я снял жилье. Комнату на чердаке в одном незнакомом городе. В моей жизни все происходило как всегда: неожиданно, будто по воле случайного прикосновения незримой руки, не желавшей меня отпустить. Я продал небольшой рассказ и совершил путешествие. Точнее сказать, прошагал пешком по незнакомым краям, ночевал в сене их лугов, пил воду их источников, питался хлебом их полей.

Пучина страсти с презрением извергла меня. Я был беден. У меня не было ни дома, ни друзей, ни последователей. Я несся, подчиняясь бегу волн, а как только появлялись звезды, их блеск тут же начинал отражаться в моих исполненных жажды глазах. Я был готов начать все сначала и тихо шагал, погрузившись в себя, совсем как женщина, полная благословенной надежды.

У меня был чистый костюм, несколько пар башмаков и три стихотворения, над которыми я каждый вечер работал, чтобы они становились более чистыми, пылкими и вечными. Еще была у меня стопка листов белой бумаги, которые ожидали драму Андромеды. Это слово захватывало меня уже тогда, когда я был ребенком, но с тех пор мне суждено было еще многое пережить и многое выстрадать, прежде чем я смог наполнить его непотухающим жаром. Нам всегда нужно время, чтобы своими руками наполнить раскаленными углями очаг, который будет согревать семью. Я думал, что могу наполнить мертвое имя жизнью всех тех судеб, что переплелись корнями с его жизнью, пока люди ищут избавления от своей связанности. То, что я хотел удержать, было бессмертием, и я искал это место на Земле, с которого я мог бы подняться, чтобы протянуть руку за лавром.

Я думал, что нашел его.

Приехав туда на рассвете, я тут же отправился к мосту, чтобы посидеть над рекой. Я прислонил голову к холодному камню и смотрел вниз на воду, над которой застыли в молчании высокие неотчетливые крыши. С полуразвалившихся каменных стен свешивалась сирень, а верхушки тополей, вспыхивая из коричневых каркасов крыш, ярко полыхали в зареве утра.

^{*} Перевод дается по: *Wiechert E.* Erzählungen. Auswahl und Nachwort von Ruth Böhner. Berlin: Union Verlag, 1969.

«Вот это и есть то самое место», — сказало вдруг что-то во мне. Я закрыл глаза и прислушался к дыханию спящего города. Я знал, что у каждого города есть свое дыхание, когда он спит, которое также отличается от какого-либо другого, как дыхание ребенка от дыхания старика.

И мне показалось, что в нем есть что-то по-детски умиляющее, что в столь ранний час поднимается от камней, от свода платанов на берегу реки и от все ярче и ярче краснеющей тайны крыш. И я почувствовал в этом ту сладость начала всех начал, которую я так долго искал и которая так бесшумно подкралась ко мне сейчас, не дождавшись, пока я позову.

Такое вот у меня жилье. Я поселился не там, где другие, потому что я беден. Я поселился над лабиринтом крыш, выше которого есть только голуби и облака. Я живу в большом, высоком доме с узкими лестницами и множеством безмолвных дверей, и когда ночью лампа освещает мои листы бумаги и таинственные звуки поднимаются вверх по лестнице, чуть касаясь двери, мне кажется, будто водоворот страсти глухо вращается подо мной, то и дело окликаая меня, и я, живой и невредимый, соскальзываю прямо со звезд глубоко в бездну, отзываясь на призыв своего творения. Волшебная сила творения покрывает мой лоб, а между плачем и восторгом я чувствую, как стихи один за другим покидают мою плоть, вливаясь в русло вечного потока.

Вечером третьего дня я разгадал смысл судьбы. Перед окном моей мансарды есть небольшая площадка, покрытая шифером, величиной примерно в один квадратный метр, и только начиная с ее края крыша крутым обрывом устремляется в пространство без края и конца. Я взобрался на нее и сидел там. Фронтоны крыш подступали совсем близко, возвышаясь, пересекая, скрывая и оттесняя друг друга. В конце лабиринта, выпорхнув в бесконечность, пылало в огне заката одинокое окно, а над ним, словно пытаясь вырваться из-под отчаянного конька крыши, уходил ввысь пламенеющий шест тополя.

Угомонились голуби. Крыши — эти фантастические горы в свете заката — темнеют в сумерках. А листва все еще рдеет последней полоской света, венчая уходящий день, дожидаясь, пока он не погаснет совсем и звезды не возникнут из просторов ночи. И тут, в ту же секунду, я слышу, как вслед за уходом дня порывистым и нарастающим звуком вздыхает река. В это же мгновение я начинаю чувствовать дурман сирени, тоску яблоневого цвета, смятенный соблазн жимолости, ощущаю, как сады поднимаются все выше и выше, и из скрытых глубин ко мне подступает земля, желая благословить меня за мой труд.

А затем, все в то же мгновение, в одиноком окне загорается свет. Она смотрит из окна. Она в белом, и я не могу различить, дневная или ночная на ней одежда. Но я могу разглядеть, что она подняла руку к оконному переплету и прислонилась к ней лбом. Не шелохнувшись, она простояла так

целый час. Город, улица, крыша и дом — все вымерло. И только шум реки эхом раздается в моем сердце, а сады уже не таят своего благоухания.

В мою душу тихим потоком вливается жар, подобно ночному дыханию моря на опустевшем пляже, и я заморожен.

А затем она поворачивается и уходит. Она растворяется, как облако из света, и угасает. Остается одно только движение ее руки, она поднимается и скользит вниз, как если бы она расчесывала свои тяжелые темные волосы. А после — ожившая крыша, каждое ее очертание и дерево без оглядки бросаются в ночь, и только безжизненная земля, кружась в воздухе, устремляется к звездам.

Вот и все, что я о ней знаю. И до этого окна так далеко: «Один лишь выстрел из лука», — про себя произнес я. Выдать себя не способно никакое совершенство, никакая печаль и никакое благородство. Выдать себя может только жест, контур тела или судьбы. Мечта бытия, уплывающая из рук, приговорена к вечному удалению. «Это наверняка служанка, — говорю я себе, — которая скучает по запаху родной земли, по родителям, по младшим братьям и сестрам в благодати цветущей долины... которая ищет избавления от своей работы, от угнетающего чувства подневольного труда, зависимости и чужого языка в этом молчаливом созерцании». Я говорю об этом самому себе, но вера покидает мои слова, пропадая в темноте дворов.

«Ты та, — громко произношу я, чтобы молчаливые крыши услышали меня, — ты та, кого я спасу в моем произведении, о Андромеда всех времен и народов, повергнутая чужеземным игом, у которой остались теперь разве что только звезды — это воплощение изменчивости над вечным страданием. Но вот нить уже вырвалась из твоей руки, покидая безнадежность твоего жеста и бросаясь прямо в бесконечность, и все же обвила мою руку, связала друг с другом стихи на моих листах и, тихо продолжая звучать, превратилась в заклинание, которое избавляет тебя и судьбу твоего рода.

А я возвращаюсь к своему узкому столу. В ночи слышится шум реки, а я вычерпываю слова одно за другим из ее быстрого течения, и мои пальцы холодеют, как если бы по содрогающейся коже моих рук тихо скользил жемчуг ее глубин.

Так вот проста моя жизнь: в ней есть окно, я сам и мое произведение. Неподвижное кольцо, неразрывно связанное с основой жизни на Земле. Иногда я вновь начинаю чувствовать голод и слабую боль в груди. А иногда, когда я спускаюсь по лестнице и стихи тихо спадают с губ, надо мной начинают смеяться дети. Но все это подобно ветру, раздувающему волосы на моих висках.

Теперь я знаю, как она выглядит, а ее образ по капле насыщает мое произведение благодатью. И это не оттого, что я видел ее тогда, а оттого,

что душа моя посвящена в тайны всего живого. Мне знакома скорбь ее лба и томление ее губ, изгиб пробора в ее волосах и усталый жест ее руки. Все это знакомо мне настолько, что пальцы левой руки снова поднимаются от потрескавшегося дерева стола, чтобы погладить это близкое мне лицо. И вот этот образ, миновав отдаление, стал мне вдруг таким близким.

Я знаю, как она говорит, как каждый слог покидает глубь ее скорби, растворяя неподвижность губ и наполняя их нежностью. Я знаю, как она дышит, как оживает и расцветает платье под шагами ее ног. И как ночь час за часом пролетает над ней, когда она недвижно лежит в комнате, скрестив руки, пока не сомкнутся ее веки — незаметно, как закрывается цветок после захода солнца.

А она не знает, что я не сплю, что я в пути и каждый из моих стихов вот-вот столкнется со щеколдой ее двери, что я пишу Евангелие бедных и плету венок, предначертанный им самим Богом. Узнает ли она об этом когда-нибудь? Безумец я, каким считают меня дети, или сам Бог послал меня в этот город в роли избавителя?

Может, я болен и все это лишь плод моей нездоровой крови, тоскливо бьющейся о стенки сосуда моего творения. Ведь дрозды кричат из садов, взгляд девушек мягок, а их походка подобна гибким движениям молодых берез. Может, прежде чем возвещать Евангелие, стоит прожить жизнь, полную потрясений, стать зрелым, а может, творение тела приятнее для молодой крови, чем творение души.

Я тоже несвободен от примитивных порывов земного познания. От желания попасть туда, что в сказке называется «последней дверью». Два дня я жил на хлебе и воде и купил небольшой компас. Окно выходит на восток или юго-восток, и я могу долго сидеть, прислоняясь к матовому стеклу, и пристально глядеть на дрожащую иглу, чье острие ищет самое сердце судьбы.

Я был на вокзале и долго стоял перед картой города, но на месте, которое я искал, нашел такой лабиринт из домов и усадеб, что я в унынии возвращаюсь. Я думал о тополе и издали наблюдал за крышами, но силуэты деревьев, наслаиваясь друг на друга, закрывали их, и я решил покончить с этим занятием. Тихий голос тоже предостерегает меня от совершения злодеяний, потому что я хочу обнажить образ богов, и мое произведение тогда тут же пристыдят и проклянут.

И несмотря на это, сегодня я был в магазине у моста, у окон которого сотни раз стоял и тихо спрашивал, могу ли я взять напрокат теодолит. Владелец магазина дважды переспрашивал меня, прежде чем понять, что же мне все-таки нужно. У него было толстое и недовольное лицо, и среди всех этих сверкающих предметов он казался чародеем, пьющим кровь своих жертв. «Теодолит?» — с внезапным интересом спрашивал он. Для чего он мне нужен? Я говорил, что хочу измерить расстояние. Он проник-

новенно смотрел на меня, но в уголках его бледного рта я угадывал таинственную, зловещую и посвященную во все мои тайны улыбку. После он поместил на стеклянную крышку стола блестящий прибор, напоминающий ледяное безжизненное сооружение из стали и стекла, голодный глаз которого бездушно смотрел в глубь помещения.

Подробно и почти любезно он объяснил мне, как им пользоваться, и принялся настраивать и направлять его стеклянный глаз на луч падающего света.

Сколько он будет стоять на полдня? — робко спросил я наконец. Он удивленно взглянул на меня и уголки его рта скривились в гнусной улыбке притворщика.

Сколько стоит? Ну, конечно, он вообще не выдается напрокат. Теодолиты берут напрокат так же редко, как локомотивы или обсерватории. Вынув из ящика лоскуток кожи, он принялся старательно чистить столешницу, как будто меня уже не было в магазине и воспоминания обо мне давно унеслись.

В дверях я еще раз обернулся. Я чувствовал, как похолодели мои руки, но все же спросил, нельзя ли взять напрокат бинокль (я боялся произнести слово «я» и задал вопрос именно так).

И тут он засмеялся бесшумным смехом, от которого задрожали его опухшие щеки. «Тоже нельзя!» — наконец сказал он. Вдруг он перестал смеяться и, опершись на стол, уставился на мои ботинки.

Я пошел прочь, наткнулся на каменную стену и словно прогнанный попрошайка вышел на улицу. «Тоже нельзя», — дрожащими губами шептал я, минуя дворы. «Почему он так говорит? Почему всё так ужасно и мучительно? Почему он просто не сказал "нет"?»

На углу следующей улицы я обернулся, чувствуя на себе взгляд, врезавшийся прямо в мою спину. Запустив руки в карманы, он темным гигантом возвышался над мостовой на фоне яркого света заходящего солнца и смотрел мне вслед. И наверняка улыбался.

Мне нужно было немало времени, чтобы забыть все это. И тут во мне родился легкий страх, нависший над моей жизнью, как едва уловимый запах увядающего цветка. Я не знал, почему он возник, каким он был хотя бы в самых общих чертах. Но я был уверен, что это была еще одна жизнь, вторгшаяся в мою, которая ползла сейчас по подвалам моей души и которую можно было угадать разве что по ее сдавленному дыханию.

Лето вступило в свои права. Моя комната вспыхивала под лучами умолимого солнца, а ночами, когда я устало сидел у окна, далекая зарница ощупью взбиралась на крыши, скрываясь за ними, и где-то вдали за горящим горизонтом раздавались раскаты грома. Сады уже не благоухали, как раньше, а река грозно рокотала в раскаленной ночи. Но окно всегда было здесь, воспламеняясь под голубоватым знаком, был здесь и белый образ,

усталость прислоненного лба и безутешность белой руки, проводящей гребнем по невидимым волосам, как по краю колодца. А иногда тополь вспыхивал светом, погружая каждый свой листик в жидкое пламя, вырывающееся мощным потоком из разверзнутой крыши.

Я не знаю, с чего все началось в тот день. Это произошло так, будто темная сила бесшумно открыла врата своего логова и, притаившись у порога, разглядывала мои следы. Ее нельзя было видеть. Но ее дыхание ощущалось все ближе и ближе, и мне казалось, сделай я еще один шаг, я тут же очутился бы в ледяных лапах опасности. Я уверял сам себя в том, что это всего лишь грозы, которые беззвучно собираются где-то по ту сторону раскаленной бледности неба, но сам чувствовал горький вкус лжи и прислушивался к звукам на лестнице, ожидая появления того, что пришло посягнуть на мое сердце.

Час за часом просиживал я над последней сценой своего произведения, и каждая из строк, зарождавшихся во мне, лопалась в зное комнаты, не успев подступить к моим губам. В первый раз творчество повергало меня в необъяснимое отчаяние, осознание бессмысленности того, что еще не обрело форму, и того, что оно нетвердой поступью шагает по уже сложившемуся, едва покинув материнское лоно. Я коснулся исписанных листов, и они тихим хрустом отозвались в моих пальцах, подобно пыли рассыпающейся мумии. Так что же все это было? Неужели грецкий орех, посаженный для внуков, не больше всего этого?

А что же будет, когда я закончу? Я мог бы продать свои стихи, как продает свое тело молодая девушка, чтобы продлить себе жизнь примерно на месяц. Тогда я мог бы стоять на дворе, в окружении детей, которые смеялись бы надо мной, и смотреть на окна мансард. Может, я нашел бы живой образ незнакомого человека, навсегда заключенного в чужом пространстве, неважно, соединюсь ли я с ним в радости или горе, в славе или несчастье. С приходом ночи я примостил лампу на узкой площадке перед моим окном и вышел на нее сам. Небо, темнея свинцом, растекалось над крышами домов. Река казалась мертвой, а воздух сгустился до студня и застыл над дворами. Окно загорелось и погасло. Белый образ показался в нем и вновь утонул. Все было мертвым и неподвижным, как в кукольном представлении.

"Aus dunkler Wölbung glüht das ferne Tor", — написал я на белом листе. Это была первая строчка, написанная мной сегодня, и я, горько улыбаясь, смотрел на нее как на полное сумасбродство. Первые звезды погасли сразу после того, как возникли, и за крышами бесшумно выросли горы облаков, изрезанные ущельями. Иногда долины вспыхивали неожиданно и таинственно, словно факелы из пещер. Их отблеск гнался за ними издалека, а небо, похожее на черное отшлифованное зеркало, украдкой вращалось вокруг невидимой оси. Злые духи уходили за облака, двери открывались и захло-

пывались, а между порогом и засовом выливался зной из дверей далеких комнат, где бесформенные идола наполнялись огнем ожидания.

«Любимая, — шептал я. — Моя любимая».

Картины детства проскользнули в моей опаленной душе. Огненные гвоздики у края луга... зовущий свист зуйка над болотом, закат... незнакомая женщина, склонившаяся надо мной, и ее рука, что проводит по моим волосам... белая, незнакомая, сказочная рука с блестящим рубином в матовом золоте кольца. И тут тихая печаль детских дней, исполненных ожидания, вернулась ко мне, тяжелый воздух над скошенными лугами, свет луны перед моим окном и песня, замолкающая где-то далеко за одежными в ночь лесами...

Я чувствую, что падаю. Из воспоминаний в мечту, из мечты в сон. В синем свете, что падает на мои закрытые глаза, я вижу крест далекого окна. Вдалеке я слышу грозный рокот бездны в нагромождении облаков, и страх дня дрожью пронизывает меня, проносясь, как ветер через дрожащую трубу.

Я просыпаюсь от того, что раскаленная балка чуть не обрывается над моей головой. Сонные призраки исчезают, и прилив света неумолимо бросается в распахнутую наготу моей души. Осколки небосвода падают в пылающие небеса, пламя несется над горизонтом, и из оглушенных глубин робко доносится жалобное звучание флейты. Моя лампа светит матовым светом под пожарами неба, а листы моего манускрипта тихо и таинственно приподнимаются от горячего ветра.

«Гроза, — мучительно подумал я, — да, значит пойдет дождь... прохлада... стихи... счастье... »

И тут мои глаза широко открылись, и я увидел пожар. Крыши шатались перед глазами в призрачном танце, в истлевшем одеянии покойников, под которым виднелся скелет из стропил. Стены искр взрывались, а сигнальные флейты пели тоскливую и жалобную песню. Фонтаны брызжут под самые звезды и, собравшись в пылающий луч, ломаются в вышине и падают огненным дождем, громяхая и рассыпаясь по пути обратно в море из красного света. Хруст пронизывает все от крыши до фундамента, и под злосчастную плоскость облаков из пустоты поднимается нарастающий свист.

Я не понимаю. Я вижу, но я слеп. Раскаленные добела молнии бросаются на сетчатку моего глаза. Раскаленные своды обрушиваются с высоты звезд, ломаясь у меня над головой. И одинокий крик человека поднимается от одной из крыш вместе с горячей стаей голубей прямо в раскаленные облака.

Пока я не вижу тополя. Как поднимается из зарослей огня раскаленный и одинокий шест тополя, на который каплями падают листья. И тут что-то пронзает мое сердце. Мое мертвое тело и мое остановившееся

сердце: молния, разящая ударом, жалобный зов флейты, крик человека. Вселенная, пылая, рыча и рассыпаясь в пыль, направляет колеблющуюся ось прямо в мое сердце. Окна больше нет, фигуры в белом тоже нет. Есть только мое сердце. И город горит.

И вот оно закричало. Мои губы молчат, рот искажился. А сердце кричит. «Андромеда, — кричит оно. — Ан... дро... ме... да!»

Улица кипела и колыхалась, словно пылающая долина между горящими стенами. Искра упала на белый предмет в моих руках. «Ману... скрипт!» — кричало сердце. Красные дворы теснились у темных подворотен. Белое лицо с криком просило чего-то. Жалоба флейты, которая падает с крыш и разбивается о камни. Восток. «Юго-восток!» — кричит сердце. Белая уверенность убегающих потоков. Подворотня, двор, улица, двор. Фигуры людей. Раздробленность линии, очертания, образа. Красноватый воздух, что несет меня на крыльях. Звенящее окно, которое разбивается вдребезги. «Андромеда!» — кричит мое сердце.

Сталь паровых пожарных насосов, обгоняемая отражениями, грохот мотора, швыряющий воздух, как камень, в мою голову. Красноватые и извивающиеся змеи обвивают дворы. Ребенок с куклой. Белый голубь, камнем бросающийся на извергающую брызги крышу. Картинка за картинкой вечным клеймом оседают на моем обнаженном сердце. Последний двор. Умиравший свет. Отражение пронесшегося прибора. И только тополь догорает над балками, объятами дымом. Каменные стены неподвижны и поблескивают под сбросом воды. И только крыш больше нет. Обезглавленные дома, с которых капает кровь. На лестничной клетке мерцает каска. Рука, которая поднимается ко мне и замирает перед недвижным белым лицом. «Андромеда!» Лестница содрогается от одинокого крика. Змеи шлангов обвивают дворы, дым душит, вода капает со ступеньки на ступеньку.

Мои легкие изъедены дымом. Подошвы моих башмаков пылают, кожа, разорвавшись на части, покрывает мое чужое лицо. Но я знаю все: направление, путь, что меня ждет. Все снова возвращается ко мне: моя жизнь, моя кровь, моя душа. Спускается с пылающих крыльев, которые принесли меня сюда, и в унижении возвращается ко мне, не покидая меня в трудную минуту.

Человек у обломков поворачивается ко мне. Со шлема на его лицо капает вода, топор устало свесился в его руке. Он выглядит так, будто бы не знает, с чего начинать. Я вижу ужас в его глазах и что он распростер руки за своей спиной, пытаюсь скрыть от меня что-то. Красноватый воздух сверху падает в комнату, и нестерпимый запах тяжестью застыл в слабом, слегка колеблющемся движении. На изогнутых железных лесах лежит что-то темное, похожее на красного паука, который пытается обвить свою жертву еще пылающими руками.левой рукой пожарник проводит по своей уни-

форме, будто пытаюсь отыскать покрывало, каким можно было бы прикрыть мертвую. Его движение беспомощно и трогательно, и я чувствую, что оно точно такое же, как и молчание, исходящее прямо от моего сердца.

«Я знаю», — тихо сказал я ему. Я не смотрю на его руки, пока молния в первый раз не освещает мертвецкую. Тяжело смотреть и не закричать. Но я не кричу. И это тоже прожигает незащитное сердце, но я не кричу.

Минуя темноту, я подхожу к оконной выемке. Земля колышется и устывает. Где-то из-под обломков сыплется мелкий мусор. Креста оконной рамы больше нет. Я выглянул из окна. Теперь я знаю все: направление, расстояние.

Там вдалеке, на расстоянии выстрела из лука, в красновато-блестящей тьме мерцает беловатый свет моей лампы, будто бы она на нити свисала с крутого ската крыши. Я машу ей. А может, и улыбаюсь. Все стало теперь так просто. Никаких тайн, никакого страха.

«Знал ли он ее?» — спрашиваю я человека в каске. Я вижу, как он вздыхает, чтобы я смог сказать, что я не призрак и не сумасшедший. И тогда он быстро и с готовностью отвечает. И мне почти кажется, что он хочет меня благодарить. Конечно, он знал все, ведь он живет в соседнем доме. Швея, тихая, бедная, скромная. У нее наверняка была легкая смерть, потому что молния подожгла дом. Да, эта смерть несомненно была легкой, отвечаю я, глядя в пылающее небо, отведя взгляд от него. "Aus dunkler Wölbung", — беззвучно шепчут мои губы. Я поднимаю левую руку и смотрю на манускрипт. Его края выглядят так, будто его вытащили из печки. Она ведь была красивой? — снова спрашиваю я. Красивой и грустной? Думаю, это преувеличение, смущенно ответил он, и даже в этом смущении было что-то трогательное. Она ведь была немного горбатой, не чересчур, но все же была горбатой. И немного печальной, да, пожалуй, такой она и была. Тот, кто шьет одежду чужим людям, почти всегда бывает немного грустным. И еще тот, кто тушит пожары, добавил я.

И я выхожу. Это значит, что я иду над домами, но не в темноту, а по краю вулкана, рев и пламя которого все еще обращены в небо. Я слышу крики, которые нагоняют меня. Я вижу стропила, которые разбиваются, как стекло, а слева от меня с грохотом обрушивается вниз стена фронтона, разбрызгивая фонтаны звезд в небесное пространство. Я не безумец и даже не опрометчив. Моя нога не соскользнет ни с одной балки, моя рука потушит любую искру, которая упадет на мою голову. Но все это не имеет никакого значения, это механика чуждых событий, детские картинки об огнive. «Швея, — про себя подумал я, — горбатая и печальная... участь бедных... последняя сцена еще не готова... бог захотел написать последнюю сцену своей рукой...». И я улыбнулся сам себе, не зная зачем. «Бог и баядерка», — вспомнил я, и мне стало так горько, что я не смог произвести это вслух. И вот я уже стоял у черной трубы и смотрел вниз.

Два человека в дымящихся касках кинулись ко мне, а я поднял руки и наклонился, как будто бы хотел прыгнуть вниз. Тогда они останавливаются и смотрят на меня как на призрака. Я прижимаю к груди мой манускрипт и лист за листом выпускаю из рук. И лист за листом падает в кипящую бездну. Я не швыряю их вниз, а держу над пропастью и отпускаю. Они покидают мою руку, как светлые голуби, набирают высоту, парусом устремляются в горящий вираж и, вспыхивая еще не коснувшись огня, прямо в воздухе, из яркой звезды превращаются в пепел!

«Что за действие? — спокойно думаю я. — Сколько звезд над вершиной Андромеды! Какой аншлаг!»

Первый акт падает, за ним второй. Начинается третий. Я начинаю читать, обращая мои строки вниз, в горящий дом. Я опять чувствую, как они прекрасны, как прекрасна кровь с отблеском тоски. Но я не грущу. Надо мной сверкает небо, и я как Бог, который разрушает то, что создал, не успеваю натянуть тетиву спокойствия над разбитой землей.

В моих руках больше ничего нет, и я отворачиваюсь. Я не хочу играть дальше. Я закончил.

Я ухожу со дворов, и мои глаза смотрят внутрь, на мое мертвое сердце. Я больше не вернусь домой, потому что я ничего там не оставил. Несколько листов бумаги, узел белья, увядший букет. Лампа потухнет сама. За квартиру я заплатил.

Я покидаю пространство из границ. Ухожу из границ пространства и времени. Я чувствую боль, но роса успокоит ее. Я беден, в моей душе тысячи образов. Я одинок, но река тоже одинока. Я обгорел, но пепел моих пожаров я спрятал глубоко в урну моей скорби.

Я не знаю, куда я иду. Позади меня вспыхивают небеса из людей, передо мной возникают очертания лесов, ветер лугов, запах дождя, шумящего вдалеке. Я уничтожил произведение и принес смертельную жертву. Но я сильнее его и сильнее мертвых. Я возведу новый мост к Богу.

«Тот, кто шьет одежду чужим людям, всегда немного грустен», — еще раз говорю я про себя. И тут на моих обожженных губах впервые появляется улыбка. Я сажусь у края дороги и снимаю мои полопавшиеся башмаки. Чулки спадают с ноющей от боли кожи, и я иду по земле босиком, не зная куда, и жду, когда пойдет дождь.

Пер. с нем. З. Анкудиновой